



Степан Карецкий

рассказ из цикла

ГРАНИЦА ХОЛОДА

ЧАС СМЕНЫ

Степан Карецкий

Час смены

Серия «Граница холода», книга 2

<https://litres.ru/74577599>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Час смены» — самостоятельный рассказ из постапокалиптической вселенной «Граница холода». Его можно читать отдельно от основного цикла.

Одиннадцатилетняя Верка не возвращается домой до наступления часа, когда весь посёлок запирает двери. Её отец нарушает главное местное правило и выходит на поиски — туда, где уже четыре зимы неподвижно стоят замёрзшие люди.

Сегодня некоторые из них повернули головы...

Содержание

I. Две смены	5
II. Светлая	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Степан Карецкий

Час смены

Выписка из «Правил проживания посёлка Верхний Ёль»,
листок в школьных сених, четвёртую зиму переписываемый
одной и той же рукой:

1. Уголь — по талонам, норма на двор.
2. За водой — по двое, с багром.
3. От половины шестого до половины седьмого по улицам
не ходить. Двери — на щеколду. Скотину не выпускать. О
причине не спорить.

І. Две смены

Смену в посёлке сдавали засветло — к пяти.

Так было ещё при леспромхозе и так осталось после него. Котельная работала в две смены — кочегар и слесарь: один сдавал, другой принимал. К половине шестого все, кому не нужно было оставаться у топки, старались уже быть дома. Никто толком не помнил, почему когда-то выбрали именно это время. Просто порядок прижился, и весь посёлок под него подстроился: школа отпускала детей, бабы возвращались с фермы, обходчик зимой заранее заканчивал свой круг, чтобы к стрелке оказаться в тепле.

В двадцать минут седьмого менялись не только живые.

Об этом в посёлке почти не говорили. Не потому, что запрещали: разговор обычно обрывался, едва начинался. Спросишь «а что будет, если...» — и собеседник посмотрит так, словно ты собрался проверить пальцем, жив ли оголённый провод. Детям правило объясняли один раз, считалкой, и больше к этому не возвращались.

Илья пришёл со смены затемно, в четверть шестого. Переобулся в сенях, постоял у печки, грея спину. Дом встречал знакомыми вещами: две комнаты, голландка, банки с рассолом на подоконнике, фотография на стене, где их ещё трое. Одиннадцать лет он жил здесь, а третью зиму — вдвоём с Веркой. После Тамары в доме остались только они.

Верки ещё не было, и пока это ничего не значило. По четвергам она ходила на дальний конец Светлой, к бабе Шуре, за молоком и возвращалась, когда темнело окончательно. Дорога занимала четверть часа: мимо фонаря, мимо школы, по тротуару. Верка знала её четыре года — с тех пор, как доросла до того, чтобы носить бидон двумя руками. Сначала этой дорогой ходила Тамара, потом они водили Верку вдвоём, потом Верка стала ходить сама. Улица всё равно приглядывала за ней: из пяти окон, из двух, хоть из одного. Чужих детей в посёлке не было.

Он поставил чайник, посмотрел в окно.

Стемнело давно. В январе темнело к трём, а днём бывало часа два серого света над крышами; солнце всё это время шло где-то ниже горизонта, по чужим краям. В большой мороз улица затихала особенно: тишина становилась плотной, морозной. Через шесть дворов ровно гудела котельная — не столько звук, сколько лёгкие толчки в воздухе. На углу скрипел расшатанный фонарь. К вечеру ветер обычно слабел, и без десяти шесть кронштейн замолкал. По этому скрипу время узнавали вернее, чем по часам.

Вдоль старой трассы, за стёсанным до льда проездом Светлой, стояли люди.

Их было видно отсюда, из тёплого, — с ноготь величиной, серые, редкие, как свечи в церкви к концу службы. Ближе всех стояла женщина в платке, у самого поворота; она стояла четвёртую зиму, и платок за это время стал частью её, снег

ложился на платок и не таял. Возле школы, во дворе, где раньше ждали очереди к фельдшеру, стояли ещё двое, боком друг к другу. На нижней стороне, вдоль насыпи разобранной ветки, — шеренга, человек тридцать, может, больше: считать их было не принято, без особой нужды.

Весной их метили. Обходчик, приезжий из-за Печоры, раз в сезон шёл вдоль улиц с ведром сажи и кистью и рисовал на плечах кресты — чтобы видно было, что учтены. Жечь их был обычай, и обычай исполнялся дважды: в первую весну, когда вокруг посёлка ещё меняли землю на железо, и во вторую, после заносной зимы, когда жгли барак на нижней стороне вместе со всем, что в нём осталось. Потом уголь стал дороже людей, и говорить про это перестали. Своих не жгли вовсе. Женщина в платке у поворота была из пришлых, но и её не трогали: она стояла на месте, не двигалась и за четыре зимы ни разу не заставила посёлок принимать решение.

Раз в сезон из-за Печоры приезжал обходчик — молчаливый мужик в овчинном полушубке, с тетрадью в клеёнке. Он проходил все тёплые места, останавливался перед каждым стоячим, делал свои записи, обновлял выцветшие сажевые кресты и уезжал обратно в Совет. В день объезда посёлок словно подтягивался: детей не выпускали дальше двора, бабы готовили гостинец, староста надевал парадный жилет. Наутро всё возвращалось к обычной жизни. Обходчик уезжал, а посёлок снова оставался наедине со своими стоячими.

Так и жили. Между домами и насыпью — сорок шагов,

между живыми и теми — всего несколько десятков шагов.

Илья тоже проверял их каждое утро: глянул из окна — все на местах, значит, ночь прошла спокойно и можно жить дальше. Это давно перестало быть бдительностью и страхом, стало привычкой вроде проверки печной заслонки. Четыре зимы по утрам ничего не менялось. О пятой заранее не думали — в Верхнем Ёле и без того хватало дел на сегодняшний день.

Отойдя от окна, он поправил в печке. Уголь горел хорошо, шёл крупный, воркутинский, из последней талонной доставки. Он сел к столу, подтащил к лампе Веркин портфель — ремень опять расползался, надо было прошить — и стал ковырять шилом дыру, слушая дом.

Верка стучала в окно три раза.

У них с Веркой был старый уговор: три тихих удара в кухонное стекло. Когда жива была Тамара, так стучал Илья, возвращаясь с ночной, чтобы не будить весь дом. Потом стук почему-то переняла Верка. Приходя из школы или от Шуры, она сначала трижды стучала в нижнюю раму и только потом шла к двери. Илья никогда не спрашивал зачем. Может, ей нравилось, что уговор работает. Может, хотелось знать: её ждут и обязательно посмотрят в окно.

Бидон она несла полуторалитровый, алюминиевый, с обвязанной ручкой. Молока Шура не жалела, и разговору было вдосталь: она провожала Верку до калитки и ещё немного говорила через калитку, и это было хорошо — своих у Шуры

схоронили в разные годы и в разные стороны, и Верку она привечала особенно — было с кем поговорить.

Этим утром он сам вышел с ней до угла.

Утро было из тех, какие в январе зовут днём: в одиннадцать небо посветлело до серого, снег загорелся, и посёлок на час стал виден весь, до последнего столба. Они шли по Светлой — Верка впереди, на полшага, дыша паром и волоча авоську со сменкой, он сзади, и, как всякий живой в посёлке, идущий по улице, он глянул вдоль проезда, на юг, где за поворотом стояла шеренга.

Все были на месте.

Это была утренняя проверка, та же, что проверка печи: не думая, глазами, по верхушкам. Женщина в платке — на месте. Двое у школы — на месте. Дальше, у насыпи, где избы кончались, — тёмные вертикали вдоль трассы, все тридцать, сколько видно с угла, все стояли, как стояли, каждый на своей точке, со своими снежными шапками. Утренний взгляд скользил по ним, как по столбам, и докладывал: всё в порядке, посёлок охраняем, день открыт. Никто никогда не говорил этих слов вслух. Вслух этого не произносили.

— Пап, — сказала Верка на углу, не оборачиваясь, — а Прокопыч Николаич вчера говорил, что сменку в мешке носить нельзя, что мешок — это барство.

— Носи в авоське, — сказал он.

— Я и ношу в авоське, — сказала Верка. — Я спрашиваю, почему он так говорит.

— Потому что он старый. — В его время барством был сам мешок.

Верка подумала и кивнула — с серьёзностью ребёнка, который пока просто принимает взрослый ответ. У школьного крыльца она остановилась, поправила платок и пошла к дверям, где Прокопыч Николаич, сторож, мёл снег с крыльца, — чистил его, как чистил всю жизнь, с той лишь разницей, что теперь мёл до краёв, до самой последней ступеньки, где кончалось крыльцо и начинался дворик, в котором стояли двое.

Он стоял на углу, пока она не вошла. Потом постоял ещё немного, слушая, как за её спиной хлопнула дверь и как девочки на другом конце школьного двора, у ледяной горки, выкрикивали считалку — новую, поселенскую, которой не было ни в его детстве, ни в чьём:

— Стрелка к шести — в дом зашли! Стрелка на шести — гляди-гляди-гляди!

Считалка растворилась в визге и топоте. Илья пошёл на смену, а «гляди-гляди-гляди» ещё какое-то время крутилось в голове. Дети подстроили под посёлок игры, считалки и дорожку в школу. Взрослые — окна, засовы и правила. Так и жили в мире, который пришлось переделать под новые обстоятельства, и уже почти не вспоминали, каким он был прежде.

День был как день. В котельной он поменял набивку на вентилях подводки, разгрёб шлак, сгрёб снег с угольного бункера, съел пару кусков хлеба с солью и час, может, дольше, просидел у окна — смотрел, как над посёлком стоит мо-

розная дымка, как по Светлой, без десяти четыре, прошли лыжами двое Петуховских, старший и младший, со школы к себе, на нижнюю сторону, — прошли насыпью, короткой дорогой, мимо шеренги, как ходили всегда, — и машинально отметил: идут.

К пяти небо снова стало чёрным. Илья сдал смену, дошёл домой и вошёл в тёплую пустоту комнат. Пустота не тревожила: он знал, что к шести Верка вернётся и в доме снова станет на одного человека больше.

Стрелка подошла к шести.

Он сшил ремень, отрезал нитку и посмотрел на часы — не потому что волновался, а потому что наступало то время, когда любой человек в посёлке начинал смотреть на часы. В окно он больше не глядел: глядеть было незачем, от Шуры до дома — четверть часа, при худом раскладе двадцать минут, она ходила этой дорогой четыре года. Он налил себе чаю и сел к столу.

Без десяти шесть фонарь на углу, как всегда, стих.

Ветер стих. В стенах домов, в проводах и железных крышах коротко и часто затрещало. Казалось, где-то далеко бьют по рельсу, а звук расходится по всему металлу посёлка. Так бывало каждый вечер. Илья слушал привычно: пока мороз трещит своим обычным голосом, всё идёт как всегда.

Без пяти шесть он встал и занавесил окно.

Занавесить окно, проверить щеколду, заглянуть в печь — всё это руки делали сами. За четыре зимы порядок вошёл в

тело так глубоко, что думать о нём уже не требовалось.

Стук должен был прозвучать ещё на шестой минуте.

На шестой минуте стука не было. На восьмой — тоже. К десятой Илья заметил, что чай так и стоит нетронутым, а шило зажато в кулаке слишком крепко. Сердце било тяжело и часто.

Он вышел в сени в валенках на босу ногу и постоял у двери. Со стороны Шуры, с дальнего конца Светлой, было не слышно ничего. Не видно ничего: на всей улице горели два окна — его и кочегарово, у котельной, — и между ними лежала сплошная темнота, шесть дворов, школа, поворот с женщиной в платке.

Часы в комнате показывали десять минут седьмого.

До половины седьмого — двадцать минут.

Ждать означало: если она упала и не может идти, лежать ей в мороз ещё двадцать минут, до половины седьмого, и потом ещё столько, пока посёлок проснётся и соберётся. Он посчитал это про себя один раз, медленно, не торопясь. Потом ещё раз.

Когда часы дошли до семнадцати минут седьмого, он натянул второй валенок.

II. Светлая

Собирался быстро, без суеты: тулуп, рукавицы за пояс, в карман бинт и огарок свечи в жестянке от чая. Ружья у него не было; два посёлочных ружья хранились у старосты. Илья взял клещи. Не как оружие — просто с железом в руке ему было привычнее, будто он и правда вышел на работу.

В сенях он задержался на три секунды, которые остались в нём потом на всю зиму: посмотреть на часы — семнадцать минут, — на ведро, на Веркины валенки под лавкой, которых не было, потому что валенки были на ней, и на дверь.

Потом он открыл дверь и вышел на улицу в запретное время.

Сразу стало ясно, как давно он не был на улице ночью. Мороз взял его за лицо, за ноздри, за крайние зубы — не болью ещё, а сухим, звенящим холодом, от которого глаза сами сужаются. Дыхание пошло изо рта столбом и оседало на воротнике инеем. Он постоял на крыльце, пережидая первый толчок холода: всё тело просилось обратно в тепло.

Снег под ногами был сухой и глубокий, расчищенный за день до состояния наста, и наст скрипел. В посёлке умели ходить по этому скрипу — перекатом, с ноги на ногу, ставя ногу плоско, — и он пошёл так, хотя некому было слышать. Окно его горело за спиной, окно кочегара горело впереди, справа, у котельной, и между ними лежала Светлая — две-

сти саженой утоптанного снега, столбы, школа слева, поворот направо, к насыпи.

Через три двора мороз стал слышнее.

Ночью мороз всегда был слышнее. Трещали провода, железные крыши, что-то глубоко в промёрзшей земле. Сухие удары расходились по улице, и приезжему трудно было объяснить, откуда именно идёт звук. Днём его заглушала работа. К стрелке эти звуки слышал весь посёлок.

Потом треск разом стих.

Не стих — кончился, оборвался на середине очереди, будто звук перерезали. Он остановился на четвёртом дворе, не доходя школы, и стоял, дыша в воротник.

Вот этого — чтобы обрывом — он не помнил.

Правило ему передали в первый год, как передают ключи от подвала, — без объяснений. Осенью тридцатого, когда он осел в посёлке при котельной, староста тогдашний, Егорыч, сказал ему при расчёте одно: «В час сиди». Не «не ходи», не «бойся» — «сиди», как говорят щенку, и так же ласково. Илья тогда ещё думал по-городскому — два года как приехал, а головой оставался там, где про всё есть паспорт и инструкция, — и спросил: почему. Егорыч посмотрел на него с интересом, с недоумённым интересом, и ответил то, что отвечали в посёлке всем спрашивающим, начиная с весны тридцатого:

— Потому.

В первую зиму Илья ещё посмеивался — тихо, про себя:

час смены, тридцать градусов, снежные люди у дороги, счёт до щелчка. Ко второй перестал. Он сам видел, что осталось от Гришкиного двора, и после такого спорить с правилом уже не хотелось. К третьей зиме руки сами задёргивали занавеску, сами проверяли щеколду, сами считали время до стрелки. Привычка вошла в тело раньше, чем он успел решить, верит ли в неё.

Почему правило работало, не знал никто. Знали, кто его ввёл: Егорыч. Знали, после чего: весна тридцатого, талые канавы, Гришкин двор, одиннадцать сожжённых до заката. Знали даже детскую считалку. Не знали только одного — правильно ли поняли то, что тогда случилось. Илья впервые всерьёз подумал об этом сейчас, на тёмной улице.

Тишина стояла такая, что он услышал, как у него в тулупе шуршит брезент на локте. Как где-то в посёлке, за тремя домами, тонко свистит пар в котельной — ровно, без перебоев: смена принята, топка в норме, всё как всегда. Как снег под его валенком, после того как он перестал стоять, ещё секунду оседал и мёрз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.